

Генрик Сенкевич

Ганя

I

Когда старый Николай оставил Ганю на моё попечение, мне было шестнадцать лет, а она, на год моложе меня, только что выходила из детских лет.

От постели угасшего деда я оттащил её почти насильно, и мы оба вместе отправились в нашу домовую часовню. Двери её были открыты, пред старым византийским образом Матери Божией горели две свечи, свет которых еле-еле разгонял мрак, царящий в глубине алтаря. Оба мы опустились на колени. Надломленная горем, измученная долгою бессонницей, девочка прижалась своею бедною головкой к моему плечу — и мы так и застыли в молчании. Время было позднее; в зале, прилегающей к часовне, кукушка на старых данцигских часах хрипло прокуковала два раза; повсюду царила глубокая тишина, прерываемая только отдалённым шумом метели, да нервными всхлипываниями Гани. Я не смел обратиться к ней со словом утешения, я только прижимал её к себе; как опекун или старший брат. И молиться я не мог, — столько впечатлений я испытал сегодня. Разнообразные картины

проходили перед моими глазами, но мало-помалу из этого хаоса выяснялась одна мысль, заговаривало одно чувство, что эта маленькая головка с закрытыми глазами, припавшая к моему плечу, это незащищенное, бедное существо становится мне дорогим, как родная сестра, за которую отдал бы жизнь и, если бы было нужно, бросил бы перчатку всему миру.

Тем временем пришёл Казь и стал на колени рядом со мной, потом ксёндз Людвик, в сопровождении прислуги. Мы читали молитвы, по установившемуся у нас обычаю. Потемневший лик Божией Матери милостиво взирал на нас, точно Она принимала участие в наших треволнениях, огорчениях, счастье и несчастье, и благословляла всех, собравшихся у Её стоп. Когда ксёндз Людвик начал поминать усопших, по которым мы всегда говорили «вечная память», и прибавил к ним имя Николая, Ганя вновь зарыдала, а я дал себе в душе клятву, что обязательства, которые возложил на меня покойник, исполню свято, хотя бы мне пришлось окупить их ценою величайших пожертвований. Это был обет экзальтированного мальчика, не сознающего ни важности принятия на себя ответственности, ни размеров пожертвований, какие могут представиться ему, но не лишённого благородных побуждений.

После молитвы мы разошлись спать.

Венгровской, нашей старой экономке, я поручил отвести Ганю в комнатку, в которой она должна была отныне поселиться, поцеловал бедную сиротку, а сам, вместе с Казем и ксёндзом Людвиком, отправился в свой флигель. Разделся я и лёг в постель. Несмотря на мысль о бедном Николае, которого я сердечно любил, я чувствовал себя гордым и чуть не счастливым в роли опекуна. Меня поднимало в собственных глазах, что я, шестнадцатилетний мальчик, должен быть опорой слабого и бедного существа. Я чувствовал себя мужчиной. «Ты не ошибся, добрый старик, — думал я, — в своём паниче, — в хорошие руки ты отдал будущность своей внучки и можешь спокойно спать в могиле». Действительно, за будущность Гани я был вполне спокоен. Мысль, что со временем она вырастет и её надо будет отдавать замуж, в то время не приходила мне в голову. Я думал, что она навсегда останется возле меня, окружённая попечениями, как сестра, любимая, как сестра, печальная, может быть, но спокойная. По обычаю, издавна установившемуся в нашей фамилии, старший сын получал впятеро больше, чем все остальные члены семьи; младшие сыновья и дочери уважали этот обычай и никогда не восставали против этого, хотя в нашем роде и не было майората. Я был старший сын, и потому большая часть наследства в будущем принадлежала

мне, и я, хотя ещё гимназист, смотрел на неё как на свою собственность. Отец мой был одним из самых состоятельных обывателей околотка. Правда, род наш не отличался богатством магнатов, но наших средств было достаточно для безбедного старошляхетского существования и тихой жизни в родном гнезде. Я мог считать себя богатым и потому ещё, что спокойно взирал как на свою будущность, так и на будущность Гани, зная, что какая бы участь ни ждала её, она всегда найдёт возле меня и покой, и защиту, если будет нуждаться в ней.

С этими мыслями я заснул, а на утро тотчас же принялся за осуществление порученной мне опеки. Как смешно и по-детски это было сделано! Но и до сих пор я не могу вспомнить об этом без трогательного чувства. Когда мы с Казем пришли завтракать, то застали уже всех наших домашних; ксёндза Людвика, madame д'Ив, нашу гувернантку, и двух моих маленьких сестрёнок, сидящих, по обыкновению, на высоких плетёных стульях. Я с необыкновенною важностью уселся на стуле отца, диктаторским оком окинул стол, потом повернулся к прислуживающему казачку и сухо и повелительно сказал ему:

— Прибор для панны Ганны.

На слове «панна» я сделал особое ударение.

До сих пор этого никогда не бывало. Ганя

всегда завтракала и обедала в гардеробной, и как мать моя ни желала усадить её вместе с нами, Николай ни за что не соглашался на это и обыкновенно повторял: «На что это похоже? Пусть питает уважение к господам. Ещё что!» А теперь я вводил новый обычай. Добрый ксёндз Людвик улыбнулся, скрыв свою улыбку за складками фулярового платка, madame д'Ив поморщилась, потому что, несмотря на своё золотое сердце, гордилась своим аристократическим происхождением; казачок, Францишек, широко разинул рот и с изумлением смотрел на меня.

— Прибор для панны Ганны! слышишь ты? — повторил я.

— Слушаю, вельможный пан, — ответил Францишек, на которого мой тон, видимо, сильно повлиял.

Теперь я признаюсь, что даже и «вельможный пан» едва мог удержать улыбку удовольствия, которое он испытывал, когда его в первый раз возвеличили таким титулом. Только важность положения не дозволила вельможному пану улыбнуться. Тем временем прибор был готов, двери отворились и вошла Ганя в чёрном платье, которое за ночь сшили ей горничная и пани Венгровская. Ганя была бледна, глаза её носили следы слёз, в длинные, золотистые косы её были вплетены ленты из чёрного крепа.

Я вскочил с места, подбежал к ней и проводил к столу. Мои старания и вся эта церемония, казалось, ещё более конфузили и мучили бедную девочку, но тогда я не понимал ещё, что в минуту горя тихий, одинокий уголок и покой дороже стоят, чем шумные приветствия друзей, хотя бы и истекающие из лучших побуждений. Я мучил Ганю, сознавая всю важность своей опеки и думая, что таким образом великолепно исполняю свои обязанности. Чего она хочет? Скушать что-нибудь, выпить? Ганя молчала и только от времени до времени отвечала на мои вопросы:

— Ничего, если будет ваша милость, панич.

Это «ваша милость, панич» — очень огорчило меня, тем более, что Ганя обыкновенно была со мной не так церемонна и говорила просто «панич». Но роль, которую я играл со вчерашнего дня, и чрезвычайные условия, в которые я поставил Ганю, делали её тем более несмелою и покорною.

Тотчас же после завтрака я отвёл её в сторону и сказал:

— Ганя, помни, что отныне ты — моя сестра. С этих пор не говори мне никогда: если будет ваша милость.

— Хорошо, если будет ваша... хорошо, панич.

Положение моё было довольно странно. Я ходил с Ганей по комнате и решительно не знал, что говорить. Я с удовольствием стал бы утешать

её, но для этого нужно было бы коснуться вчерашнего дня, смерти Николая, и это вызвало бы новый поток слёз и разбудило бы её горе. Кончилось тем, что мы сели на низенький диванчик, стоящий в углу комнаты; девочка снова прижалась головкой к моему плечу, а я начал гладить её золотистые волосы.

Она прижималась действительно ко мне как к брату, и может быть это сладкое чувство доверчивости, возникающее в её сердце, вновь вызвало слёзы на её глаза. Плакала она долго, а я утешал, как умел.

— Опять плачешь, Ганя моя... — говорил я. — Дедушка твой на небесах, а я буду стараться...

И я не мог говорить далее, — и у меня сжималось горло.

Я знал, что теперь именно принесли гроб и кладут в него Николая, поэтому и не хотел отпустить Ганю к телу деда прежде, чем всё будет готово. Зато я пошёл сам. По дороге я встретил madame д'Ив и просил её подождать меня, — мне с нею нужно поговорить по важному делу. Помолившись у гроба Николая и сделав кое-какие распоряжения насчёт похорон, я возвратился к француженке и после вступительных слов спросил её, не захочет ли она, когда пройдут первые недели траура, давать Гане уроки французского языка и музыки.

— Monsieur Henri! ¹ — ответила старая француженка, которую очевидно сердило, что я так властно распоряжаюсь всем, — я с удовольствием сделала бы это, тем более, что сама очень люблю бедную девочку, но не знаю, как посмотрят на это ваши родители, не знаю, как они отнесутся к той роли, в которую вы хотите поставить сиротку среди вашего семейства. *Pas trop de zèle, monsieur Henri!*²

— Она под моей опекой, — возвышенно ответил я, — и я отвечаю за неё.

— Но я-то не под вашей опекой, — ответила madame д'Ив, — а поэтому позвольте мне дождаться возвращения ваших родителей.

Упрямство француженки рассердило меня, но, к счастью, дело с ксёндзом Людвигом пошло на лад без затруднения. Добрый ксёндз, который до тех пор учил Ганю, не только согласился на более обширную программу преподавания, но даже ещё похвалил меня за моё рвение.

— Вижу, — сказал он, — что ты искренно берёшься за исполнение своей задачи. Молод ты, ребёнок ещё, но я хвалю тебя; помни только, будь и постоянен так же.

¹ Месье Анри! (*фр.*)

² Не переусердствуйте, мсье Анри! (*фр.*)

И я видел, что ксёндз доволен мною. Роль господина дома, которую я присвоил себе, скорее забавляла, чем сердила его. Видел старичок, что во всём этом было много ребяческого, но гордился и утешался тем, что его посев, брошенный в мою душу, не пропал. Любил меня старый ксёндз сильно; сначала, в детские годы, он наводил на меня страх, а теперь, когда я начинал подрастать, сам мало-помалу подчинялся мне. Ганю он любил также и готов был, для улучшения её судьбы, сделать всё, что зависело от него, поэтому моё предложение не встретило никакого сопротивления с его стороны. Madame д'Ив, существо в сущности добрейшее, хотя и поворчала на меня, но окружила Ганю всевозможными попечениями. Сиротка могла пожаловаться на что угодно, только не на недостаток любящих сердец. И дворня наша начала относиться к ней иначе, — не как к своей сестре, а как к паненке. К требованиям старшего сына, хотя бы даже и ребёнка, у нас относились с большим уважением. Этого требовал и мой отец. Апелляция на эти требования была возможна, к старшему пану или старшей пани, но противиться им не дозволялось без разрешения свыше. Точно также старшего сына нужно было величать непременно «паничем» со дня его рождения. Дворне, как и младшим членам семьи, внушалось почтение к старшему сыну, и этим почтением он пользовался

всю свою жизнь. «Тем и стоит семья», — говаривал мой отец, и действительно, благодаря этому, добровольный, не основанный ни на каких законных актах, договор, в силу которого старший сын получал гораздо большее наследство, чем младший, держался с давних времён. То была семейная традиция, переходящая от поколения к поколению. Дворня привыкла смотреть на меня как на будущего барина, и даже покойник Николай, которому дозволялось всё и который мог называть меня по имени, не мог сопротивляться установившемуся обычаю.

Мама держала в доме аптечку и сама посещала больных. Во время холеры она проводила целые ночи в крестьянских хатах вместе с доктором, подвергала себя величайшей опасности, а отец, который дрожал при одной мысли об этом, не оказывал никакого сопротивления и только повторял: «что делать, долг долг!» Да и сам отец, несмотря на свою кажущуюся строгость, не всегда проявлял её, — прощал барщину, легко извинял провинившегося, платил долги за крестьян, справлял свадьбы и крестил детей, нам приказывал уважать людей, старикам на их поклон отвечать поклоном, даже призывал их к себе советоваться. Зато и крестьяне были привязаны к нам и впоследствии не раз доказывали это на деле. Я говорю это для того, чтобы, во-первых, обрисовать,

как у нас шли дела, во-вторых — объяснить, что для превращения Гани в «паненку» я не встретил больших затруднений. Больше всего сопротивления, — пассивного, конечно, — я встретил в ней самой, потому что девочка была настолько робка и настолько Николай напичкал её уважением к «господам», что ей не легко было примириться со своей новой участью.

II

Похороны Николая были на третий день после его смерти. На печальную церемонию съехалось много наших соседей; старик хотя и был слугою, но пользовался всеобщим уважением и любовью. Похоронили его в нашем склепе, рядом с дедом моим, полковником. За всё это время я не терял Ганю из виду ни на минуту. Приехала она со мною в одних санях; я хотел, чтоб она вместе со мной и домой возвратилась, но ксёндз Людвик приказал мне идти просить соседей заехать с кладбища к нам обогреться и подкрепить силы. Тем временем Ганя поступила на попечение моего коллеги и приятеля Мирзы-Давидо вича, сына Мирзы-Давидовича, соседа моего отца, по происхождению татарина и магометанина, по принадлежащего к старой дворянской фамилии, которая поселилась здесь с давних времён. Я должен был сесть вместе с

Устшицкими, а Ганя вместе с madame д'Ив и молодым Давидовичем поместились в других санях. Я видел, как добрый мальчик окутал Ганю своею шубой, потом вырвал у кучера вожжи, гикнул на лошадей и они помчались как стрела. Возвратившись домой, Ганя пошла плакать в комнату деда, а я, несмотря на моё желание, не мог последовать за нею, потому что должен был вместе с ксёндзом Людвиком принимать гостей. Наконец разъехались все, остался только Мирза-Давидович, который должен был провести у нас конец Рождественских праздников и до некоторой степени позаниматься со мною вместе, потому что мы были уже в седьмом классе и нас ожидал экзамен зрелости, но больше для того, чтоб ездить верхом, стрелять в цель из пистолетов, фехтовать и охотиться, — а это мы оба предпочитали переводам анналов Тацита и Киропедии Ксенофонта. Мирза был весёлый малый, сорванец и школьник великий, вспыльчивый как порох, но милый в высочайшей степени этого слова. У нас в доме его любили все, за исключением отца, которого сердило то, что молодой татарин стрелял и фехтовал лучше меня. Зато madame д'Ив восторженно восхищалась им, потому что по-французски он говорил как парижанин, болтал, острил и забавлял француженку так, как нам и во сне бы не приснилось. Ксёндз Людвик с своей стороны питал лёгкую надежду,

что присоединит его к католической религии, тем более что мальчик порою шутил над Магометом и вероятно скоро бросил бы Коран, если бы не боялся отца, который, в силу фамильных традиций, обеими руками держался магометанства и повторял, что, как старый шляхтич, он предпочитает быть старым магометанином, чем свежеиспечённым католиком.

Вообще-то у старого Давидовича не было никаких ни турецких, ни татарских симпатий. Предки его поселились здесь чуть ли не со времён Витольда. То была шляхта состоятельная, и сидела она издавна в одном гнезде. Часть имений, которыми они обладали, ещё Ян Собеский даровал Мирзе-Давидовичу, полковнику лёгкой конницы, который под Веной оказал чудеса храбрости и портрет которого до сих пор ещё висит в Хожелях. Помню, портрет этот производил на меня странное впечатление. Полковник Мирза был человек страшный; лицо его было исписано сабельными ударами, как таинственными литерами Корана. Цвет лица его был смугло-серый, виски выдавались вперёд, косые глаза с диким и угрюмым блеском обладали тою особенностью, что и с портрета всегда смотрели на тебя, как бы ни стал — прямо, или с какого-нибудь бока. Но коллега мой, Селим, ни в чём не был похож на своих предков. Его мать, на которой старый Давидович женился в Крыму, была не татаркой, а кажется грузинкой. Я не помню

её, но знаю, что о ней говорили, будто это была красота необычайная и что Селим как две капли похож на неё.

Ах, и какой прелестный мальчик был этот Селим! Глаза его ещё сохраняли чуть-чуть заметный косой разрез. Но то не были татарские глаза, а большие, чёрные, задумчивые и меланхолические глаза, которыми отличаются грузинки. Я во всю свою жизнь не видал ничего более прелестного. Когда Селим попросит чего-нибудь и посмотрит на человека, то кажется, что он берёт его прямо за сердце. Черты лица его были правильные, благородные, точно иссеченные художественным резцом, цвет лица смуглый, но мягкий, слегка выдающиеся, ярко-красные губы и зубы как ряд жемчугов. Но когда, например, Селим повздорит с товарищем, — а это случалось довольно часто, — то вся кротость его исчезала, как обманчивый мираж; тогда он становился почти страшен: глаза его вытягивались как-то вкось и светились, как у волка, на лбу выступали жилы, кожа лица темнела, — в нём пробуждался настоящий татарин, такой, с какими привыкли ведаться наши предки. Но длилось это недолго. Через минуту Селим плакал, просил прощения, целовал недавнего врага, — и ему всегда прощали. Сердце у него было отличное, склонность к благородным поступкам огромная. Но он был

какой-то растрёпанный, слегка легкомысленный и непоседа самого высшего сорта, ездил верхом, стрелял и фехтовал он бесподобно, а учился посредственно, потому что, несмотря на свои огромные способности, был отчасти лентяем. Мы любили друг друга как братья, часто дрались, мирились так же часто, что, конечно, не влияло на нашу дружбу. Половину вакации и праздников он проводил у нас, другую — я у него в Хожелях. И теперь он должен был пробыть у нас до конца Рождественских праздников.

Гости после обеда разъехались рано, — часа в четыре. Короткий зимний день окончился, к нам в комнату заглядывала яркая вечерняя заря, на деревьях, стоящих перед окнами и облитых красным блеском, неуклюжие вороны хлопали крыльями. Было видно, как целые их стаи плавают над прудом и точно тают в кровавых отблесках зари. В зале, куда мы перешли после обеда, царило молчание. Madame д'Ив пошла в свою комнату раскладывать, по своему обыкновению, пасьянс; Ксёндз Людвик мерным шагом прохаживался из угла в угол и нюхал табак; мои маленькие сестрёнки возились под столом на ковре и переплетались русыми прядями своих волос; Ганя, я и Селим сидели на диване у окна и смотрели на пруд, на лес и на догорающий свет зимнего дня. Наконец почти совсем стемнело. Ксёндз Людвик

пошёл читать молитвы, одна из моих сестёр погналась за другою в соседнюю комнату. Селим начал что-то болтать, как вдруг Ганя прижалась ко мне и прошептала:

— Панич, мне что-то страшно, — я боюсь.

— Не бойся, Ганя моя, — сказал я и привлёк её к себе. — Прижмись ко мне, вот так. Пока ты около меня, тебе нечего бояться, ничего дурного с тобой не будет. Смотри, я ничего не боюсь и всегда сумею защитить тебя.

Это была неправда: мрак ли, царящий в зале, был этому причиной, слова ли Гани, или недавняя смерть Николая, — но и я был под каким-то странным впечатлением.

— Может быть приказать принести огня?

— Хорошо, панич.

— Мирза, прикажи Франку дать огня.

Мирза вскочил с дивана и вскоре мы услышали за дверями необыкновенный шум и топот. Дверь с треском распахнулась, в неё как вихрь ворвался Франек, а за ним держащий его за плечи Мирза. Лицо у Франка было глупое и испуганное, потому что Мирза вертел его как кубарь, а иногда и сам вертелся с ним. Таким же винтообразным движением он довёл его до дивана и сказал:

— Пан приказывает тебе принести огня, потому что паненка боится. Что ты хочешь, —

принести огонь, или чтоб я голову у тебя оторвал?

Франек через минуту возвратился с лампой, но оказалось, что свет режет заплаканные глаза Гани. Мирза погасил лампу, мы опять остались в таинственном мраке и опять воцарилось между нами молчание. Но теперь луна заглянула своим серебристым серпом в наше окно. Ганя, видимо, всё боялась ещё, потому что прижалась ко мне ещё крепче, да, кроме того, я должен был держать её за руку. Мирза сел напротив нас и, по своему обыкновению, из шумного настроения перешёл в задумчивость, а через несколько минут и совсем размечтался. Тихо было всё, ужасно тихо, нам страшно, но всё-таки хорошо.

— Пусть Мирза расскажет нам какую-нибудь сказку, — проговорил я. — Он так отлично рассказывает. Хочешь, Ганя?

— Хорошо, — ответила девочка.

Мирза поднял глаза кверху и на минуту задумался. Луна ярко освещала его красивый профиль. И через минуту он начал рассказывать своим чудесным голосом:

«За лесами, за горами, жила в Крыму одна добрая волшебница, но имени Лала. А раз проезжал мимо её хаты султан, который назывался Гарун и который был очень богат: у него был коралловый дворец с бриллиантовыми колоннами, крыша на этом дворце была из жемчуга, а весь дворец такой

большой, что нужно было идти целый год, чтобы пройти его из конца в конец. Сам султан в тюрбане носил настоящие звёзды, тюрбан был из солнечных лучей, а на верху его был лунный серп, который один волшебник отсёк у луны и подарил султану. Едет султан мимо волшебницы Лалы и плачет, да так плачет, так плачет, что слёзы падают на дорогу, а куда упадёт слеза, там тотчас же вырастает белая лилия.

— Что ты плачешь, султан Гарун? — спрашивает его волшебница Лала.

— Как же мне не плакать, — отвечает султан Гарун: — одна у меня только и есть дочка, прекрасная как заря утренняя, да и ту я должен отдать чёрному Девсу с огненными глазами, который что ни год...»

Вдруг Мирза оборвался и замолчал.

— Спит Ганя? — шепнул он мне через минуту.

— Нет, не сплю, — сонным голосом отвечала девочка.

«— Не плачь, султан, — говорит Лала, — садись на крылатого коня и поезжай в пещеру Бора. Злые облака будут преследовать тебя по дороге, но ты брось им вот эти маковые зёрнышки, и облака уснут как раз...»

И так дальше рассказывал Мирза, а потом снова оборвался и посмотрел на Ганю. Девочка

теперь действительно спала. Измучена она была ужасно, настрадалась вволю и потому уснула крепко. Мы с Селимом оба почти не смели перевести дыхания; чтобы не разбудить её. А Ганя дышала спокойно, ровно. Селим подпёр голову рукою и глубоко задумался, я поднял глаза кверху и мне казалось, что я на крыльях ангелов улетаю в небесное пространство. Я не сумею передать сладкого чувства, которое охватило всего меня, при сознании, что это маленькое, дорогое мне существо спит спокойно и так доверчиво на моей груди. Какая-то дрожь пробежала по моему телу, какие-то новые, незнакомые, не земные голоса начали пробуждаться в моей душе и слагаться в стройный хор. О, как я любил Ганю! Как я любил её ещё любовью брата и защитника, но без границы и меры!

Потихоньку я приблизил губы к выбившемуся локтю Гани и поцеловал его. В этом не было ничего земного, потому что и её и мой поцелуй были одинаково невинны.

Вдруг Мирза вздрогнул и пробудился от задумчивости.

— Какой ты счастливый, Генрик! — прошептал он.

— Да, Селим.

Но, однако, не могли же мы вечно оставаться в таком положении.

— Не станем будить её, а перенесём в её комнату, — сказал мне Мирза.

— Я и один перенесу, а ты только отворяй двери, — ответил я.

Я осторожно взял Ганю на руки. Хотя я был ещё мальчик, но принадлежал к породе сильных людей; кроме того, девочка была так мала и слаба, что я поднял её как пёрышко. Мирза отворил двери в соседнюю освещённую комнату и таким образом мы добрались до зелёного кабинета, который я назначил Гане спальнею. Кроватька была уже приготовлена, в камине трещал весёлый огонь, а у камина сидела и поправляла угли старая Венгровская, которая испуганно закричала, увидав меня с моею ношею:

— Господи, Боже мой! Панич несёт девчонку! Нельзя было разбудить её, чтоб она сама пришла?

— Тише, пожалуйста!.. — гневно крикнул я. — Паненка, а не «девчонка» я говорю... слышишь? Паненка измучилась. Прошу не будить её. Раздеть и осторожно положить в кроватьку. И помни, что она сирота, что её нужно утешать после смерти деда.

— Сиротка, бедняжечка... правда, сиротка, — разжалобилась и Венгровская.

Мирза поцеловал за это старушку и мы ушли пить чай.

За чаем Мирза расшалился ужасно и забыл

обо всём, но я не вторил ему, во-первых потому, что был грустен, а во-вторых, думал, что человеку почтенному (опекун!) уж нельзя вести себя по-мальчишески. В этот вечер Мирза получил ещё головомойку и от ксёндза Людвика за то, что во время нашей молитвы в часовне он взобрался на низкую крышу ледника и начал выть. Конечно, дворовые собаки сбежались со всех сторон и, сопровождая Мирзу, подняли такой содом, что мы не могли окончить наших молитв.

— Что, ты ошалел, что ли, Селим? — спрашивает ксёндз Людвик.

— Извините, я молился по-магометански.

— Ах ты скверный мальчишка! не шути ни над какой религией.

— А если я хочу сделаться католиком и сделался бы, если б не боялся отца? Что мне за дело до Магомета!

Ксёндз, затронутый с слабой стороны, замолчал и мы пошли спать. Мне и Селиму отвели особую комнату, потому что ксёндз знал, что мы любим болтать, а мешать нам не хотел. Когда я разделся и заметил, что Мирза собирается ложиться спать без молитвы, то спросил:

— Ты, Селим, действительно, никогда не молишься?

— Как не молюсь! Хочешь сейчас начну?

Он стал у окна, поднял глаза на луну, простёр

к ней руки и начал взывать певучим голосом!

— О, Аллах! Акбар Аллах! Аллах Керим!

Весь в белом, с глазами поднятыми к небу, он был так прекрасен, что я не мог свести с него глаз.

Потом Селим начал объяснять мне.

— Что я сделаю? В нашего пророка, который другим не позволяет иметь больше одной жены, а сам имел их столько, сколько ему хотелось, — я не верю. Притом, ты знаешь, что я люблю вино. Никем другим как магометанином мне быть нельзя, а так как я в Бога всё-таки верую, то иногда и молюсь, как умею. Впрочем, разве я знаю что-нибудь? Знаю, что Бог есть, вот и всё.

И через минуту он заговорил совсем о другом:

— Знаешь что, Генрик?

— Что?

— У меня есть великолепные сигары. Мы уже не дети, можем курить.

— Давай.

Мирза соскочил с постели и достал пачку сигар. Закурили мы, улеглись и только старались сплёвывать так, чтобы это было незаметно.

Через минуту Селим заговорил опять:

— Знаешь что, Генрик? Я тебе завидую. Ты так вот уж действительно взрослый.

— Надеюсь.

— Потому что ты опекун. Ах, если б и мне отдали кого-нибудь под опеку!

— Это не так легко, да, кроме того, откуда же возьмётся другая Ганя?.. Но вот что, — продолжал я вполне убеждённым голосом, — я думаю, что более уж не поеду в гимназию. Человек, у которого такие обязанности дома, не может ходить в школу.

— И... всё-то ты бредишь. Что ж, ты совсем, значит, не будешь учиться? А Главная Школа?

— Ты меня знаешь, что я учиться люблю, но долг прежде всего. Разве отец отпустит со мною Ганю в Варшаву...

— Ему это и во сне не приснится.

— Пока я в гимназии, конечно, нет; но как сделаюсь студентом, то мне отдадут Ганю. Как, разве ты не знаешь, что такое студент?

— Да, да... А, может быть. Ты будешь надзирать за нею, а потом женишься на ней.

Я так и привскочил на кровати.

— Мирза, да ты с ума сошёл!

— Да почему же бы и нет? В гимназии человеку жениться нельзя, но студенту можно. А студент может иметь не только жену, но и детей. Ха, ха, ха!

Но в это время прерогативы и все привилегии студенчества не интересовали меня ни на каплю. Вопрос Мирзы как молния осветил ту часть моей души, которая и для меня оставалась ещё тёмною. Тысяча мыслей, точно тысяча птиц, промелькнуло в моей голове. Жениться на моей дорогой, милой

сиротке! Да, это была молния, новая молния мысли и чувства. Казалось мне, что во мрак моего сердца кто-то внёс огонь. Любовь, хотя и глубокая, но до сих пор братская, от этого огня окрасилась розовым светом и загорелась до сих пор незнакомым мне теплом. Жениться на ней, на Гане, на этом светлокудром ангеле, на моей дорогой, любимой... И я слабым, тихим голосом, как эхо, повторил свой последний вопрос:

— Мирза, да ты с ума сошёл?

— Я побился бы об заклад, что ты уже влюбился в неё, — ответил Мирза.

Я не отвечал ничего, погасил огонь, потом схватил угол подушки и начал целовать его.

Да, я уже любил.

III

На другой или третий день приехал мой отец, вызванный телеграммой. Я дрожал, чтоб он не отменил моих распоряжений относительно Гани, и предчувствия мои до некоторой степени оправдались. Отец похвалил меня и обнял за рвение и добросовестное исполнение обязанностей, — это видимо радовало его. Он даже повторил несколько раз: «наша кровь», что случалось только тогда, когда он бывал очень доволен мною, зато распоряжения мои не особенно понравились ему.

Быть может на него повлияли немного преувеличенные рассказы madame д'Ив, хотя действительно, после ночи, когда я уяснил себе свои чувства, Ганя сделалась первою особой в доме. Точно также отцу не понравился мой проект обучения Гани наравне с моими сёстрами.

— Я не изменю ничего. Это дело твоей матери, — говорил он мне. — Пусть она решает, как хочет, — это уж по её части. Но нужно подумать, как будет лучше для самой девочки.

— Да ведь образование, папа, никогда повредить не может. Я сам не раз слышал это от тебя.

— Да, мужчине, — отвечал отец, — потому что мужчине образование даёт известное положение; но женщина — дело другого рода. Для женщины образование должно соответствовать тому положению, какое она займёт впоследствии. Такой девочке не нужно ничего другого, кроме образования среднего, — не нужно ни французского языка, ни музыки и тому подобного. Со средним образованием Ганя скорей найдёт себе мужа, какого-нибудь честного мелкого чиновника...

— Папа!

Отец с удивлением смотрел на меня.

— Что с тобою?

Я был красен, как свёкла. Кровь так и залила,

моё лицо, в глазах потемнело. Сопоставление Гани с мелким чиновником представилось мне таким кощунством, таким оскорблением моих мечтаний и надежд, что я не мог сдержать крика негодования. А кощунство это уязвило меня тем сильнее, что вышла из уст отца. Действительность в первый раз обливала холодной водой горячую веру моего младенчества; это был первый залп, направленный жизнью на волшебный замок мечты, первое заблуждение и разочарование, от горечи которых мы впоследствии ограждаемся пессимизмом и неверием. Но как раскалённое железо, когда на него упадёт капля холодной воды, только зашипит и сейчас же обратит воду в пар, так и горячая человеческая душа. Под влиянием первого прикосновения холодной руки действительности, она, правда, содрогнётся от боли, но тотчас же и самую действительность согреет своим жаром.

Слова отца уязвили меня, и уязвили странным образом. Я чувствовал обиду, но обижался не на него, а как будто на Ганю, но тем не менее скоро, со всею силой внутреннего сопротивления, свойственного молодости, выбросил свою обиду из души раз навсегда. Отец волнения моего не понял и приписал его чересчур горячему отношению к принятым на себя обязанностям, что, впрочем, в мои лета было вполне естественно и что скорее льстило его самолюбию, чем раздражало и

ослабляло его недоброжелательное отношение к высшему образованию Гани. Мы сговорились с отцом, что я напишу письмо к матери (она должна была ещё долго прожить за границей) и попрошу её постановить своё окончательное решение по этому делу. Не помню, чтоб я когда-нибудь написал письмо такое длинное и такое искреннее. Я передал во всех подробностях обстоятельства, сопровождавшие смерть Николая, привёл его последние слова, выразил свои желания, опасения и надежды, затронул струну сострадания, которая так слабо была натянута в её сердце, обрисовал мучения совести, которым я подвергся бы непременно, если бы мы не сделали для Гани всё, что возможно, — одним словом, по моему тогдашнему мнению, это письмо было верхом искусства и должно было вызвать желательные последствия. До некоторой степени успокоившись, я терпеливо ожидал ответа, и ответ скоро пришёл в двух письмах: ко мне и к madame д'Ив. Я выиграл битву по всей линии. Мать не только согласилась на высшее образование Гани, но даже усиленно настаивала на этом. «Я желала бы, — писала мне добрая мама, — если это согласно с волею твоего отца, чтобы Ганя во всех отношениях считалась членом нашего семейства. Мы обязаны сделать это в память старика Николая, в память его заслуг и преданности к нам». Триумф мой был полный, а

вместе со мной торжествовал и Селим, который ко всему, что касалось Гани, относился так, как будто сам был её опекуном.

Правда, что симпатия, которую он выказывал бедной сиротке, начинала меня немного сердить, тем более, что с той знаменательной ночи, когда мне открылось истинное состояние моей души, отношения мои к Гане значительно изменились. В её присутствии я чувствовал себя как будто связанным. Прежняя искренность моя и ребяческая фамильярность исчезли совершенно. Прошло немного дней, когда девочка уснула на моей груди, а теперь, при одной мысли об этом, волосы мои становились дыбом. Ещё четвертого дня, видаясь с ней утром и прощаясь вечером, я как брат целовал её в бледные губки, а теперь прикосновение её руки обжигало меня палящим огнём. Я начинал обоготворять её, как обыкновенно обоготворяют предмет первой любви, а когда девочка, не знающая ничего и ни о чём не догадывающаяся, по-прежнему прижималась ко мне, я в глубине души сердился на неё, а себя считал святотатцем.

Любовь принесла мне неизведанное доселе счастье, но также и незнакомые до сих пор страдания. Если б я мог кому-нибудь поверить свою тревогу, если бы мог поплакать на чьей-нибудь груди (а к этому у меня теперь развилась необыкновенная охота), то, несомненно,

половина тяжести свалилась бы с моей груди. Правда, я мог рассказать всё Селиму, но боялся его характера. Я знал, что в первую минуту он горячо примет все мои слова к сердцу, но кто мне мог поручиться, что на другой день он не осмеёт меня со свойственным ему цинизмом и легкомысленными словами не осквернит мой идеал, к которому я и в мечтах своих относился чуть ли не с благоговейным трепетом? Мой характер, наоборот, был скрытный и, кроме того, у меня с Селимом была одна огромная разница. Разница эта заключалась вот в чём: я был всегда сентиментален, а у Селима сентиментальности не было ни на грош. Я мог любить только грустно, Селим — только весело. Любовь свою я скрывал ото всех, почти от самого себя, и, действительно, её никто не замечал. В несколько дней, никогда не выдав никаких примеров, я инстинктивно выучился имитировать все проявления любви: задумчивость, румянец, которым покрывалось моё лицо, когда кто-нибудь вспоминал при мне имя Гани, — одним словом, я проявил необыкновенную ловкость, — ту ловкость, при помощи которой шестнадцатилетний мальчик иногда сумеет обмануть самого опытного человека, наблюдающего за ним. Признаваться Гане я не имел ни малейшего намерения. Я любил её, и мне этого было совершенно достаточно. Только по временам, когда мы оставались одни, меня

подмывало сделать что-нибудь, например — стать перед нею на колени или поцеловать край её платья.

А Селим тем временем куролесил, смеялся, острил и был весел за нас обоих. Это он в первый раз вызвал улыбку на уста Гани, когда однажды за завтраком предложил ксёндзу Людвигу перейти в магометанскую веру и жениться на madame д'Ив. Ужасно обидчивая француженка и ксёндз даже сердиться на него не могли, и как только он приласкался к ним, как только посмотрел на них своими чудными глазами, так дело всё и кончилось лёгким выговором и всеобщим смехом. В отношениях его к Гане чувствовалось неподдельное участие, но и её пересиливала врождённая весёлость Селима. С ней он был более на короткой ноге, чем я. Видно было, что и Ганя его любит, потому что как только он войдёт в комнату, так и её лицо прояснится. Надо мной, а в особенности над моею грустью он издевался постоянно, называя её искусственной важностью мальчика, которому во что бы то ни стало хочется казаться взрослым человеком.

— Вот вы увидите, он ксёндзом сделается, — говорил Селим.

Тогда я ухватывался за первый попавшийся повод, чтобы свести на него разговор и скрыть румянец, выступавший на мои щёки, а ксёндз